



Юай Чоксахват

# Глиняный круг

Юай Чоксахват  
**Глиняный круг**

«Автор»

2026

## **Чоксахват Ю.**

Глиняный круг / Ю. Чоксахват — «Автор», 2026

После увольнения с завода он остаётся один среди города, где каждый день похож на предыдущий, а будущее не обещает ничего, кроме новой усталости. Его втягивают в общую работу — копать огромную яму, которая должна изменить жизнь, принести пользу и дать смысл. Но чем глубже уходит земля, тем яснее, что надежда и труд могут обернуться пустотой. Роман о человеке, который ищет место в мире, где от него ждут только работы без конца.

# Юай Чоксахват

## Глиняный круг

Глиняный круг  
Yuai Choksahwat  
Серия «Книга времени»

Чтение в удовольствие!

В день своего тридцатилетия Игоря Сеницына уволили из небольшого автосервиса, где он зарабатывал на жизнь. В приказе об увольнении значилось, что он отстраняется от работы в связи с прогрессирующей апатией и излишней задумчивостью, не соответствующей общему темпу.

Сеницын собрал свои вещи в рюкзак и вышел из общежития, чтобы на свежем воздухе осмыслить будущее. Но воздух был спертым, неподвижные тополя удерживали духоту в листве, и пыль уныло лежала на безлюдной улице – природа застыла. Сеницын не знал, куда идти, и прислонился к покосившемуся забору детского дома на окраине города, где сирот готовили к труду и общественной пользе. Дальше город заканчивался – там располагался только пивной ларек для разнорабочих и низкооплачиваемых, стоявший без всякого двора, а за ларьком возвышался песчаный холм, и одинокая береза росла на нем посреди ясного дня. Сеницын дошел до ларька и вошел внутрь, привлеченный оживленными голосами. Здесь собирались люди, пытавшиеся забыть о своих проблемах, и Сеницыну стало немного легче среди них. Он пробыл в ларьке до вечера, пока не поднялся ветер, предвещавший перемену погоды; тогда Сеницын подошел к открытому окну, чтобы увидеть наступление ночи, и заметил березу на песчаном холме – она раскачивалась от ветра, и ее листья с тихим шелестом сворачивались. Где-то вдалеке, наверное, в парке администрации, играл духовой оркестр: однообразная, тоскливая мелодия уносилась ветром через пустырь, потому что радость была редким гостем, и оркестр проводил свой вечер в бездействии. После ветра снова наступила тишина, и ее окутал еще более густой мрак. Сеницын сел у окна, чтобы наблюдать за нежной тьмой ночи, слушать разные печальные звуки и чувствовать боль в сердце, зажатом в тиски ребер.

– Эй, бармен! – раздалось в затихшем заведении. – Налей нам два бокала – горло промочить!

Сеницын давно заметил, что в пивной люди всегда приходили парами, как женихи и невесты, а иногда и целыми компаниями.

Бармен на этот раз пива не подал, и двое пришедших монтажников вытерли грязными рукавицами пересохшие рты.

– Тебе, дармоед, рабочий человек должен указывать, а ты выпендриваешься!

Но бармен берег свои силы от рабочих перегрузок для личной жизни и не вступал в перепалки.

– Заведение, граждане, закрыто. Идите домой.

Монтажники взяли со стола по соленому кренделю и вышли вон. Сеницын остался один в пивной.

– Гражданин! Вы заказали всего один бокал, а сидите здесь целую вечность! Вы платили за пиво, а не за аренду помещения!

Артем сжал свой рюкзак и вышел в ночь. Звёздное небо давило на Артема своей невыносимой яркостью, но в городе уже погасли огни, и те, у кого была возможность, спали после ужина. Артем спустился по осыпающейся земле в канаву и лёг там ничком, чтобы заснуть и забыться. Но для сна нужно было спокойствие разума, вера в жизнь, прощение прошлых обид, а Артем лежал в сухом напряжении сознания и не знал, полез ли он миру, или мир прекрасно

обойдётся без него? Из неизвестного места подул ветер, чтобы люди не задохнулись, и тихий лай собаки из пригорода напомнил о её службе.

— Скучно собаке, она живёт только благодаря рождению, как и я.

Тело Артема побледнело от усталости, он почувствовал холод на веках и закрыл ими уставшие глаза.

Пивнушка уже открывалась, ветры и травы уже трепетали от солнца, когда Артем с тоской открыл налившиеся влагой глаза. Ему снова предстояло жить и есть, поэтому он пошёл в профком — защищать свой никому не нужный труд.

— Администрация говорит, что ты стоял и думал посреди цеха, — сказали в профкоме. — О чём ты думал, товарищ Артемьев?

— О плане жизни.

— Завод работает по готовому плану корпорации, а план личной жизни ты мог бы разрабатывать в клубе или коворкинге.

— Я думал о плане общей жизни. Своей жизни я не боюсь, она мне понятна.

— Ну и что бы ты мог сделать?

— Я мог бы придумать что-нибудь вроде счастья, а от душевного подъёма улучшилась бы производительность.

— Счастье произойдёт от материального благополучия, товарищ Артемьев, а не от смысла. Мы тебя отстоять не можем, ты человек несознательный, а мы не хотим оказаться в отстающих.

Артем хотел попросить какой-нибудь самой простой работы, чтобы хватило на еду: думать же он будет в свободное время; но для просьбы нужно уважение к людям, а Артем не видел от них сочувствия к себе.

— Вы боитесь быть в отстающих: они — крайние, и сели на шею!

— Тебе, Артемьев, государство дало лишний час на твою задумчивость — работал восемь, теперь семь, ты бы и жил молча! Если все мы сразу задумаемся, то кто работать будет?

— Без мысли люди действуют бессмысленно! — произнёс Артем в раздумье.

Он ушёл из профкома без помощи. Его путь лежал через летний город, вокруг строили новые дома и благоустраивали территорию — в этих домах будут молча существовать бесприютные массы. Тело Артема было равнодушно к комфорту, он мог жить без изнеможения на открытом воздухе и страдал от своего несчастья во время сытости, в дни покоя в прошлой квартире. Ему ещё раз пришлось пройти мимо пригородной пивной, ещё раз он посмотрел на место своей ночёвки, там осталось что-то общее с его жизнью, и Артем оказался в пространстве, где перед ним был только горизонт и ощущение ветра в лицо.

Примерно через километр показался дом смотрителя трассы. Привыкнув к тишине, этот человек громко ругался с женой, а та сидела у распахнутого окна с малышом на руках и отвечала мужу бранными словами. Ребенок же молча теребил край своей футболки, все понимая, но ничего не говоря.

Это молчаливое терпение ребенка тронуло Игната. Он увидел, что родители потеряли смысл жизни и полны злобы, а ребенок просто растёт, не жалуясь, готовясь к страданиям. Игнат решил сосредоточиться, не жалеть сил на размышления, чтобы вскоре вернуться к дому смотрителя и рассказать этому разумному ребенку о тайне жизни, которую его родители постоянно забывают. «Их тела сейчас просто существуют автоматически, — подумал Игнат о родителях, — они не чувствуют сути».

— Почему вы не чувствуете сути? — спросил Игнат, обращаясь к окну. — У вас ребенок растёт, а вы ругаетесь — ведь он для чего-то родился.

Муж и жена со страхом совести, скрытым за злобой на лицах, смотрели на незваного свидетеля.

— Если вам нечем жить спокойно, лучше бы вы любили своего ребенка — вам станет легче.

– А тебе чего здесь надо? – со злобной насмешкой в голосе спросил смотритель дороги.  
– Идешь – и иди себе, для таких, как ты, дорогу и построили...

Игнат замер посреди дороги в нерешительности. Семья ждала, пока он уйдет, держа злобу наготове.

– Я бы ушел, но мне некуда. Далеко ли здесь до другого города?

– Близко, – ответил смотритель, – если не будешь стоять, дорога доведет.

– А вы любите своего ребенка, – сказал Игнат, – когда вы умрете, он останется.

Сказав это, Игнат отошел от дома смотрителя примерно на километр и сел на край канавы. Но вскоре он почувствовал сомнение в своей жизни и слабость тела без истины. Он не мог больше идти и работать, не зная, как устроен мир и к чему стремиться. Игнат, измученный размышлениями, лег в пыльную траву у дороги. Было жарко, дул дневной ветер, и где-то в деревне кричали петухи – все предавались бессмысленному существованию, один Игнат отделился и молчал. Сухой, опавший лист лежал рядом с головой Игната. Его принес ветер с далекого дерева, и теперь этот лист должен был смириться с землей. Игнат поднял сухой лист и спрятал его в потайной карман своей сумки, где он хранил всякие предметы, связанные с несчастьем и безвестностью. «У тебя не было смысла в жизни, – с грубым сочувствием подумал Игнат, – лежи здесь, я узнаю, зачем ты жил и погиб. Раз ты никому не нужен и валяешься среди мира, то я буду тебя хранить и помнить».

– Все живет и страдает в мире, ничего не осознавая, – сказал Игнат у дороги и встал, чтобы идти, окруженный всеобщим терпеливым существованием. – Как будто кто-то один или несколько немногих вырвали из нас убежденное чувство и забрали его себе.

Он шел по дороге до изнеможения. Изнашивался Игнат быстро, как только его душа вспоминала, что он перестал знать истину.

Вдали уже проступал город; дымились его частные пекарни, и закатное солнце золотило пыль над домами, поднятую потоком машин. Город начинался с автомастерской, где как раз, когда туда подошел Тихон, чинили внедорожник, пострадавший на ухабистой дороге. Подле столба стоял тучный инвалид и обращался к мастеру:

— Слышь, Борь, подсыпь табачку, а то опять замок ночью взломаю!

Борис, копаясь под машиной, не ответил. Тогда калека ткнул его костылем в бок.

— Брось ты возиться, Борь, дай табаку! А то убытков наделаю!

Тихон замедлил шаг, увидев, как из глубины города по улице движется колонна школьников, идущих на репетицию парада, а впереди играл уставший духовой оркестр.

— Я ж тебе вчера целую сотку дал, — проворчал Борис. — Дай хоть неделю покоя! А то я терплю-терплю, возьму и костыли твои сожгу!

— Жги! — согласился инвалид. — Меня ребята на коляске привезут, крышу с мастерской снесу!

Борис, отвлекшись на детей, подобрел и насыпал увечному табаку в кiset:

— Грабь, саранча!

Тихон заметил, что у калеки не было ног – одной совсем, а вместо другой – деревянный протез; держался тот, опираясь на костыли и напрягая деревяшку вместо правой ноги. Зубов у инвалида не было, он их сточил начисто, зато наел огромное лицо и грузное тело; его маленькие, карие глаза смотрели на мир с жадностью обделенного, с тоской накопившейся злобы, а во рту его шевелились десны, произнося беззвучные мысли безногого.

Оркестр школьников, удаляясь, заиграл бодрый марш. Мимо автомастерской, с сознанием важности своего дела, четким шагом шли девочки в форме; их худенькие, крепнущие тела были одеты в синие юбки и белые блузки, на серьезных, сосредоточенных лицах красовались красные пилотки, а их ноги были покрыты нежным пушком юности. Каждая девочка, двигаясь в ногу со строем, улыбалась от чувства своей значимости, от осознания серьезности жизни, необходимой для поддержания строя и силы движения. Многие из этих школьниц родились в

трудные времена, когда экономика страны переживала кризис, и не все дети получали достаточно питания, потому что их матери выживали на скудных пособиях; поэтому на лицах многих девочек осталась печать ранних лишений, худоба и недостаток красоты. Но счастье детской дружбы, предвкушение светлого будущего в играх и достоинстве своей строгой свободы отражались на детских лицах важной радостью, заменявшей им красоту и домашний уют.

Тихон стоял в нерешительности перед шествием этих незнакомых ему, воодушевленных детей; ему казалось, что школьники, наверное, знают и чувствуют больше его, потому что дети – это время, созревающее в свежем теле, а он, Тихон, уступает дорогу спешащей, действующей молодости в тишину безвестности, как тщетная попытка жизни добиться своей цели. И Тихон почувствовал стыд и прилив энергии – он захотел немедленно постичь всеобщий, глубокий смысл жизни, чтобы идти впереди детей, быстрее их смуглых ног, наполненных твердой нежностью.

Алёнка, в красном галстуке, выскочила из строя прямо в рожь, что подступала к заводскому цеху, и сорвала колосок. Движение получилось каким-то порывистым, и на миг обнажилась детская спина, а затем она исчезла, оставив после себя странное чувство у двоих – уволенного фрезеровщика, Игната, и безногого попрошайки. Игнат посмотрел на калеку. Тот нахмурился, лицо налилось кровью, он издал какой-то невнятный стон и зашевелил рукой в кармане старой куртки. Игнат наблюдал за настроением этого сильного, но изувеченного человека, и радовался, что таким, как он, никогда не понять радости советских детей. Однако калека продолжал смотреть вслед пионерской колонне, и Игнат вдруг испугался за их невинность.

– Смотрел бы ты лучше в другую сторону, – сказал он инвалиду. – Лучше бы закурил.

– Марш отсюда, умник! – процедил безногий.

Игнат не сдвинулся с места.

– Я кому говорю? – повторил калека. – Нарваться хочешь?

– Нет, – ответил Игнат. – Я просто испугался, что ты что-нибудь скажешь этой девочке или как-нибудь повлияешь на неё.

Инвалид в своей обычной муке опустил большую голову к земле.

– Что я скажу ребёнку, дурак? Я смотрю на детей, чтобы помнить, потому что скоро умру.

– Это, наверное, на той войне тебя покалечило, – тихо произнёс Игнат. – Хотя инвалиды тоже стариками бывают, я видел.

Увечный человек поднял глаза на Игната, в них читалась злоба и превосходящий ум; он помолчал, сдерживая гнев, а потом медленно, с ненавистью сказал:

– Старики такие бывают, а вот калек таких, как ты, – нету.

– Я на настоящей войне не был, – сказал Игнат. – Тогда бы и я вернулся оттуда не целым.

– Вижу, что не был: откуда же ты такой дурак! Когда мужик войны не видел, он как нерожавшая баба – идиотом живёт. Тебя ж насквозь видно!

– Эх!.. – жалобно произнёс Игнат. – Смотрю на детей, а самому так и хочется крикнуть: «Да здравствует Первое мая!»

Пионерский оркестр затих и заиграл вдалеке марш. Игнат продолжал томиться и пошёл в город.

До самого вечера Игнат бродил по городу, словно ожидая, когда мир станет понятным. Однако ему по-прежнему было неясно, и он ощущал в глубине себя тихое место, где ничего не было, но ничто не мешало чему-то начаться. Как сторонний наблюдатель, Игнат ходил мимо людей, чувствуя нарастающую силу горющего ума и всё больше уединяясь в тесноте своей печали.

Только сейчас он увидел центр города и строящиеся объекты. Вечерние фонари уже горели на строительных лесах, но полевой свет тишины и увядающий запах осени проникли сюда из пригорода и стояли нетронутыми в воздухе. Отдельно от природы, в светлом кругу

электричества, с усердием работали люди, возводя кирпичные стены, шагая с носилками по деревянным лесам. Игнат долго наблюдал за строительством неизвестной ему башни; он видел, что рабочие двигались равномерно, без лишней силы, но что-то уже было сделано для завершения постройки.

— Не обесценивается ли жизнь, когда возводятся здания? — сомневался Егоров. — Человек строит дом, а сам разрушается. Кто тогда будет жить?

Он ушел из центра города на окраину. Пока шел, опустилась безлюдная ночь; лишь вода и ветер населяли эту даль и природу, и только птицы могли воспеть грусть этого огромного пространства, потому что они летали высоко и им было легче.

Егоров забрел на пустырь и нашел теплую яму для ночлега; спустившись в эту впадину, он положил под голову рюкзак, куда собирал всякие мелочи для памяти, опечалился и уснул. Но какой-то человек с триммером в руках вошел на пустырь и начал косить траву, росшую здесь испокон веков.

К полуночи косарь подошел к Егорову и велел ему встать и уйти с территории.

— Чего тебе? — неохотно спросил Егоров. — Какая тут территория, это просто заброшенное место.

— А теперь будет территория. Теперь здесь будет стройка. Приходи утром посмотреть, это место скоро исчезнет под фундаментом.

— А где же мне быть?

— Можешь в вагончике переночевать. Иди туда и спи до утра, а утром разберешься.

Егоров пошел по указанию косаря и вскоре увидел дощатый вагончик на месте бывшего огорода. Внутри спали человек двадцать, и тусклая лампа освещала их бессознательные лица. Все спящие были худы, как мертвецы, пространство между кожей и костями у каждого было заполнено венами, и по их толщине было видно, сколько крови они пропускают во время работы. Ткань рубах точно передавала медленную работу сердца — оно билось вблизи, во тьме опустошенного тела каждого спящего. Егоров всмотрелся в лицо ближайшего — не выражает ли оно счастья удовлетворенного человека. Но спящий лежал неподвижно, глубоко и печально закрыты его глаза, и остывшие ноги беспомощно вытянулись в старых рабочих штанах. Кроме дыхания, в вагончике не было звука, никто не видел снов и не разговаривал с воспоминаниями — каждый существовал без всякого излишка жизни, и во время сна оставалось живым только сердце, берегущее человека. Егоров почувствовал холод усталости и лег для тепла между двумя спящими рабочими. Он уснул, незнакомый этим людям, закрывшим свои глаза, и довольный, что рядом с ними ночует, и так спал, не чувствуя реальности, до светлого утра.

\* \* \*

Утром Егорова словно что-то толкнуло в голову, он проснулся и слушал чужие слова, не открывая глаз.

— Он слабый!

— Он не понимает.

— Ничего, капитализм из наших людей делал дураков, и он тоже остаток прошлого.

— Главное, чтобы по происхождению подходил: тогда годится.

— Судя по его виду, класс у него бедный.

Егоров с сомнением открыл глаза на свет нового дня. Вчерашние спящие стояли над ним и наблюдали его беспомощное положение.

— Ты зачем здесь ходишь и живешь? — спросил один, у которого из-за усталости плохо росла борода.

— Я тут словно призрак, — пробормотал Егоров, ощущая неловкость оттого, что столько взглядов устремлены на него одного. — Я лишь думаю.

— И что толку от твоих дум? Зачем себя изводишь?

— Без правды мне худо, силы покидают. Работать не могу, задумался на смене, вот и выгнали...

Рабочие молчали, глядя на Егорова. В их лицах читалось равнодушие, усталость. Редкая, вымученная мысль тускло мерцала в их терпеливых глазах.

— И что же это за правда такая? — спросил тот, кто говорил первым. — Ты же не работаешь, не соприкасаешься с материей жизни. Откуда тебе мысль взять?

— А зачем она тебе, эта правда? — вмешался другой, с трудом размыкая пересохшие губы. — В голове у тебя будет хорошо, а в жизни — дрянь.

— Неужели вы все знаете? — с робкой надеждой спросил Егоров.

— А как иначе? Мы же все предприятия содержим! — ответил невысокий человек, из чьего иссохшего рта едва слышно вылетали слова. Жидкая бородка росла у него на изможденном лице.

В этот момент распахнулась дверь, и Егоров увидел ночного сторожа с армейским котелком. Кипяток уже был готов на плитке, стоявшей во дворе барака. Время сна прошло, настало время подкрепиться перед дневной сменой...

На деревянной стене висели старые часы. Розовый цветок был нарисован на циферблате, чтобы хоть как-то скрасить монотонность времени. Рабочие сели вдоль длинного стола. Сторож, выполнявший в бараке женскую работу, нарезал хлеб и раздал каждому по ломтю, добавив еще по куску вчерашней холодной колбасы. Рабочие принялись серьезно есть, воспринимая пищу как должное, без всякого удовольствия. Хотя они и обладали смыслом жизни, что, по идее, должно было равняться вечному счастью, лица их были угрюмы и измождены. Егоров с надеждой и страхом наблюдал за этими людьми, способными без всякого ликования хранить истину внутри себя. Он уже был рад тому, что истина существует в теле ближнего, который сейчас с ним говорил. Значит, достаточно просто быть рядом с этим человеком, чтобы обрести терпение к жизни и способность к труду.

— Иди с нами, поешь! — позвали Егорова.

Егоров поднялся и, еще не до конца веря в общую необходимость мира, пошел есть, чувствуя себя неловко и тоскливо.

— Что ты такой невеселый? — спросили его.

— Да так, — ответил Егоров. — Теперь и я хочу работать над материей жизни.

В период сомнений в правильности жизни он редко ел спокойно, всегда ощущая свою измученную душу.

Но теперь он поел безразлично. Самый активный из рабочих, товарищ Захаров, сообщил ему после еды, что, пожалуй, и Егоров теперь сгодится для работы, потому что люди сейчас стали на вес золота, наравне с материалами. Вот уже который день ходит представитель профсоюза по окрестностям города и заброшенным местам, чтобы найти бездомных бедняков и сделать из них постоянных тружеников, но редко кого приводит — все заняты своими делами.

Егоров наелся и встал среди сидящих.

— Чего это ты встал? — поинтересовался у него Сафронов.

— Сидя, мысли еще хуже в голову лезут. Лучше уж постою, разомнусь.

— Ну, стой. Интеллигент, видать? Вам бы только сидеть да думать, без дела.

— Пока в отключке был, руками работал, а как очнулся — смысл жизни потерял, ослаб духом.

Вдруг к бараку донеслась музыка, полная каких-то особых, жизнеутверждающих звуков. В ней не было ни грамма мысли, зато ощущалось ликующее предчувствие, от которого у Ерофеева все тело начинало дрожать от радости. Эти тревожные звуки внезапной музыки пробуждали совесть, напоминали о ценности времени, призывали пройти путь надежды до конца, чтобы найти там источник этого волнующего пения и не умереть в тоске от бессмысленности существования.

Музыка стихла, и жизнь снова навалилась всей своей тяжестью.

Представитель профсоюза, уже знакомый Ерофееву, вошел в помещение и предложил бригаде пройти по окраине города, чтобы осознать важность работы, которая начнется на пустыре после шествия.

Бригада рабочих вышла на улицу и смущенно остановилась напротив музыкантов. Сафронов нарочито покашливал, смущаясь чести, оказанной ему в виде музыки. Землекоп Чиклин смотрел с удивлением и ожиданием – он не чувствовал себя достойным, но хотел бы еще раз услышать торжественный марш и молча порадоваться. Остальные робко опустили свои натруженные руки.

Представитель профсоюза в заботах и делах забывал о себе, и так ему было легче. В суеде сплочения масс и организации досуга для рабочих он не вспоминал об удовлетворении личных потребностей, худел и крепко спал по ночам. Если бы он хоть немного умерил свой пыл, вспомнил о недостатке домашнего уюта, или просто пожалел свое постаревшее тело, он бы почувствовал стыд за то, что живет за счет двух процентов от чужого труда. Но он не мог остановиться и задуматься.

С присущей ему энергией, продиктованной преданностью трудящимся, представитель профсоюза шагнул вперед, чтобы показать квалифицированным рабочим город, застроенный частными домами. Ведь именно им предстояло начать строительство того самого здания, куда переселится весь местный пролетариат. Этот общий дом возвысится над городом, а маленькие частные домики опустеют, зарастут травой, и там постепенно умрут забытые люди ушедшей эпохи.

К бараку подошли несколько каменщиков с новыхстроек, представитель профсоюза замер в предвкушении триумфального шествия строителей по городу. Музыканты поднесли инструменты к губам, но бригада рабочих стояла в нерешительности. Сафронов заметил на лицах музыкантов фальшивое усердие и обиделся за унижаемую музыку.

– Это еще что за цирк? Куда это мы пойдем? Чего мы там не видели?

Лицо представителя профсоюза вытянулось, и он почувствовал укол в душе – он всегда чувствовал это, когда его обижали.

— Товарищ Зайцев! Окружное профбюро хотело продемонстрировать вашей передовой бригаде всю нищету прежней жизни, эти убогие лачуги и беспросветную нужду, а также старое кладбище, где хоронили рабочих, умерших до революции в беспросветной бедности, — тогда бы вы поняли, какой это гиблый город стоит посреди нашей страны, и сразу бы осознали, зачем нам нужен общий дом для всех трудящихся, который вы начнете строить немедленно...

— Не надо тут подхалимства! — резко ответил Зайцев. — Мы что, бараны, и не видели этих халуп, где всякие дельцы жируют? Отвезите свой оркестр в детский дом, а мы с домом сами разберемся, по своей совести.

— Значит, я подхалим? — с испугом спросил профсоюзный представитель, начиная что-то подозревать. — У нас в профбюро есть один горлопан, а я, значит, подхалим?

И, почувствовав боль в сердце, уполномоченный молча поплелся в здание профсоюза, а оркестр за ним.

На вытоптанном пустыре стоял запах увядшей травы и сырой земли, отчего особенно остро ощущалась всеобщая тоска и бессмысленность. Костеву выдали лопату, и он сжал ее руками, словно хотел выкопать истину из земной пыли; отверженный Костев был готов даже не иметь смысла жизни, но хотел хотя бы увидеть его в теле другого человека, ближнего, — и ради близости к этому человеку он готов был отдать на работу все свое слабое тело, измученное мыслями и бессмысленностью.

Посреди пустыря стоял инженер — не старый, но поседевший от расчетов человек. Весь мир представлялся ему мертвым телом — он судил о нем по тем частям, которые уже превратил в конструкции. Мир всегда поддавался его внимательному и аналитическому уму, ограничен-

ному лишь сопротивлением материи; материал всегда уступал точности и терпению, значит, он был мертв и пуст. Но человек был жив и достоин среди этой унылой материи, поэтому инженер вежливо улыбался рабочим. Костев заметил, что щеки у инженера розовые, но не от сытости, а от учащенного сердцебиения, и Костеву понравилось, что у этого человека так бьется сердце.

Инженер сообщил Чугунову, что уже произвел разбивку участка и разметил, и указал на вбитые колышки: теперь можно начинать. Чугунов слушал инженера и перепроверял его разметку своим опытом и чутьем — во время земляных работ он был старшим в бригаде, работа с грунтом была его лучшим делом; когда же начнется кладка фундамента, Чугунов будет подчиняться Зайцеву.

— Мало людей, — сказал Чугунов инженеру, — это каторга, а не работа — время всю пользу сожрет.

— Биржа труда обещала прислать пятьдесят человек, хотя я просил сто, — ответил инженер. — Но отвечать за все работы будем только вы и я: вы — ведущая бригада.

— Вести мы не будем. А будем равняться на всех. Лишь бы люди пришли.

Игорь, молча, вонзил лопату в плотную глину, лицо выражало лишь усталую сосредоточенность. Кирилл тоже принялся копать, вкладывая всю силу в каждый удар. Он старался верить, что будущее поколение сможет найти покой в этом новом доме, смотреть из окон на обновленный мир. Тысячи травинки, корешки и мелкие убежища насекомых он уничтожал, работая в узкой траншее. Но Игорь уже перешел к лому, разбивая нижние слои затвердевшей почвы. Разрушая старую землю, Игорь не пытался понять ее.

Осознавая малочисленность бригады, Игорь спешил разбить вековую почву, направляя всю энергию тела в удары по мертвой земле. Сердце билось ровно, спина обливалась потом, под кожей не было жира — старые вены и органы были близко к поверхности. Когда-то он был молод, и девушки любили его за мощное тело, которое он не берег. Многие нуждались в нем как в защите и тепле. Но он хотел защитить слишком многих, чтобы самому что-то почувствовать. Тогда женщины и друзья покидали его из ревности. Игорь, тоскуя по ночам, выходил на площадь и переворачивал торговые палатки, за что сидел в тюрьме и пел песни летними вечерами.

К полудню Кирилл копал все меньше и медленнее, раздражаясь от работы. От бригады он отстал, только один худой рабочий трудился медленнее. Этот отстающий был угрюм, слаб, пот стекал по его лицу, обросшему редкими волосами. Поднимая землю на край а, он кашлял и сплевывал мокроту, а потом закрывал глаза, словно хотел уснуть.

— Ершов! — крикнул ему Соколов. — Опять плохо?

— Опять, — ответил Ершов тихим голосом.

— Жируешь, — сказал Соколов. — Будем тебя класть спать на стол под лампу, чтобы тебе было стыдно.

Ершов посмотрел на Соколова красными глазами и промолчал.

— За что он тебя? — спросил Кирилл.

Ершов вынул соринку из носа и посмотрел в сторону, словно тосковал о свободе, но ни о чем не думал.

— Они говорят, — ответил он, — что у меня нет женщины, что я ночью под одеялом сам себя люблю, а днем от пустоты тела не гожусь. Они ведь все знают!

Денис снова копал ту же суглинистую почву, понимая, что глины и земли вокруг еще немерено — нужна целая вечность, чтобы трудом и забвением одолеть этот мир, скрывающий в своей тьме суть бытия. А может, проще придумать смысл жизни в голове? Вдруг случайно догадаешься или ощутишь его тоскливым чувством.

— Семенов, — сказал Денис, теряя терпение, — лучше я буду думать без работы. Все равно весь мир до дна не перекопаешь.

– Не придумаешь, – не отрываясь, ответил Семенов, – у тебя не будет памяти материи, и ты станешь как Козлов, сам себя думать, как зверь.

– Чего ноешь, сиротинушка! – отозвался Чирков спереди. – Смотри на людей и живи, пока живется.

Денис посмотрел на людей и решил как-нибудь жить, раз они терпят и живут. Он вместе с ними родился и умрет в свое время вместе с ними.

– Козлов, ложись лицом вниз, передохни! – сказал Чирков. – Кашляет, вздыхает, молчит, горюет! Так могилы роют, а не дома.

Но Козлов не любил чужую жалость. Он сам украдкой погладил свою большую грудь под курткой и продолжил копать плотный грунт. Он все еще верил в наступление жизни после постройки этих домов и боялся, что его туда не примут, если он предстанет жалким нетрудовым элементом. Только одно чувство волновало Козлова по утрам – его сердце билось с трудом, но он надеялся жить в будущем хотя бы маленьким кусочком сердца. Однако из-за слабости груди ему приходилось во время работы гладить себя поверх костей и шептать, уговаривая потерпеть.

Уже наступил полдень, а биржа труда не прислала новых землекопов. Ночной сторож выпался, сварил картошку, полил ее яйцом, добавил масла, вчерашней каши, посыпал сверху для красоты укропом и принес в котелке эту сборную солянку для восстановления сил артели.

Ели молча, не глядя друг на друга и без жадности, не придавая значения еде, словно сила человека исходит из одного сознания.

Инженер совершил свой ежедневный обход разных обязательных учреждений и явился на . Он постоял в стороне, пока люди доели все из котелка, и сказал:

– В понедельник будет еще сорок человек. А сегодня суббота: вам пора заканчивать.

– Как это заканчивать? – спросил Чирков. – Мы еще куб или полтора выкинем, рано заканчивать.

– А надо заканчивать, – возразил прораб. – Вы уже работаете больше шести часов, есть закон.

– Этот закон для одних уставших элементов, – возразил Чирков, – а у меня еще немного сил осталось до сна. Кто как думает? – спросил он у всех.

– До вечера далеко, – сообщил Семенов, – чего жизни зря пропадать, лучше сделаем дело. Мы ведь не животные, мы можем жить ради энтузиазма.

– Может, природа нам что-нибудь покажет внизу, – сказал Денис.

– И то! – произнес неизвестно кто из рабочих.

Инженер опустил голову. Он боялся пустого домашнего времени, не знал, как ему жить одному.

– Тогда и я пойду порисую немного и сваи пересчитаю еще раз.

— Ладно, чертите там свои планы, — согласился Куликов. — Все равно уже вырыт, вокруг тоска зеленая. Закончим это дело, тогда и заживем по-человечески, отдохнем.

Начальник участка медленно отошел. Вспомнилось детство, как перед праздниками уборщица мыла полы в подъезде, мать наводила порядок в квартире, а за окном лил тоскливый дождь, и он, маленький, не знал, куда себя деть, и становилось грустно и одиноко. Сейчас тоже погода ни к черту, над городом нависли серые тучи, и во всей стране будто генеральную уборку затеяли в преддверии светлого будущего. Радоваться пока рано, да и незачем. Лучше сесть, подумать и набросать эскизы этого самого дома будущего.

Сытый жизнью, Антонов почувствовал прилив энергии, и его и без того немаленький ум, казалось, увеличился вдвое.

— Всем, как говорится, рулят, а жрать любят, — заявил Антонов. — Хозяин бы себе давно уже дом отгрохал, а вы тут помрете на этой стройке века.

— Антонов, ты хамло! — отрезал Сафронов. — На кой тебе этот дом, если ты только о себе и думаешь? Радуетесь, что пузо набил?

— А почему бы и не порадоваться? — огрызнулся Антонов. — Кто меня хоть раз пожалел? Терпи, мол, пока олигархи не сдохнут. Теперь вроде как все, справедливость восторжествовала, а я опять один в своей однушке, и тоска меня грызет!

У Игнатова защемило сердце от жалости к Антонову.

— Тоска — это не страшно, товарищ Антонов, — сказал он. — Это значит, что мы, простой народ, весь мир чувствуем. А счастье... оно еще где-то там, впереди. От счастья, может, еще хуже будет!

Игнатов и остальные снова взялись за работу. Солнце еще высоко стояло, и птицы жалобно щебетали в воздухе, не радуясь, а ища корм. Ласточки низко летали над копающими землю людьми, их крылья устало шуршали, и под пухом и перьями чувствовалась усталость. Они летали с самого утра, не зная отдыха, чтобы накормить птенцов. Игнатов поднял мертвую птицу, упавшую с неба. Она была вся мокрая от пота. Когда Игнатов ощипал ее, чтобы рассмотреть, в руках осталась жалкая, измученная жизнью тушка. Игнатов не жалел себя, разбивая твердую землю. Здесь будет дом, в котором люди будут прятаться от невзгод и кормить птиц, живущих на улице.

Куликов, не замечая ни птиц, ни неба, не думая ни о чем, тяжело бил ломом по земле, и его тело истощалось в глинистой яме, но он не чувствовал усталости, зная, что ночью во сне его силы восстановятся.

Измученный Антонов сел на землю и начал рубить топором торчащий из земли известняк. Он работал, не помня ни времени, ни места, вкладывая остатки своей энергии в камень, который он рассекал. Камень нагревался, а Антонов постепенно остывал. Он мог бы так и умереть незаметно, и этот камень стал бы его бедным наследством для будущих поколений. Штаны Антонова задрались, обнажив худые ноги, обтянутые кожей, и острые кости голеней проступали сквозь нее, как зазубренные ножи. Игнатов почувствовал от этих незащитных костей тоскливую тревогу, боясь, что они прорвут тонкую кожу и вылезут наружу. Он ощупал свои ноги в тех же местах и сказал всем:

— Хватит копать на сегодня! А то переработаете, помрете, и кто тогда станет людьми? — крикнул кто-то.

Игнат не ответил. Вечерело: вдали поднималась синяя мгла, предвещающая сон и прохладу, и над землей нависала тоскливая, безжизненная высь. Тихон все так же долбил камень, не отрывая взгляда, и его уставшее сердце, наверное, билось еле слышно.

\* \* \*

Надзиратель за строительством всеобщего дома вышел из своего вагончика-офиса в ночной темноте. был пуст, бригада рабочих спала в бараке, тесно прижавшись друг к другу, и лишь тусклый свет ночника пробивался сквозь щели, освещая пространство на случай беды или для того, кто вдруг захочет пить. Инженер Захаров подошел к бараку и заглянул внутрь сквозь дыру от сучка; у стены спал Артем, его распухшая от напряжения рука лежала на животе, и все его тело гудело в глубоком сне; босой Тихон спал с открытым ртом, его горло клочкотало, словно воздух проходил сквозь густую темную кровь, а из полуоткрытых бледных глаз текли редкие слезы от кошмара или неведомой печали.

Захаров оторвал взгляд от щели и задумался. Вдали светились огни ночной стройки завода, но Захаров знал, что там нет ничего, кроме мертвых стройматериалов и уставших, бездумных людей. Он придумал этот всеобщий дом вместо старого города, где до сих пор люди живут, отгородившись дворами; через год весь местный пролетариат выедет из этого мещанского города и заселит монументальный новый дом. А через десять или двадцать лет другой инженер построит в центре мира башню, куда войдут на вечное, счастливое поселение трудящиеся всей планеты. Захаров мог бы уже сейчас представить, какое произведение статической

механики, с точки зрения искусства и целесообразности, следует поместить в центре мира, но не мог предвидеть устройство души обитателей общего дома посреди этой равнины, и тем более вообразить жителей будущей башни посреди всемирной земли. Каким тогда будет тело у молодежи и от какой волнующей силы начнет биться сердце и думать ум?

Захаров хотел это знать уже сейчас, чтобы не зря строились стены его зодчества; дом должен быть населен людьми, а люди наполнены той избыточной теплотой жизни, которую однажды назвали душой. Он боялся возводить пустые здания — те, в которых люди живут лишь из-за непогоды.

Захаров замерз от ночной сырости и спустился в , где царила тишина. Некоторое время он посидел в глубине; под ним был камень, сбоку возвышался срез грунта, и было видно, как на слое глины лежит почва. Всегда ли из основания образуется надстройка? Каждое ли производство жизненного материала дает дополнительным продуктом душу в человеке? А если производство улучшить до точной экономии — будут ли происходить из него побочные, неожиданные продукты?

Инженер Градов еще с юности ощутил предел своего разума, словно глухая стена выросла перед его мыслящим сознанием. С тех пор его терзало это ощущение границы, и он утешался лишь тем, что самое сокровенное устройство материи, из которой создан мир и человек, ему доступно — вся необходимая наука осталась до этой стены, а за ней лишь скука и пустота. Но любопытство не давало покоя: а вдруг кто-то уже перешагнул эту черту? Градов снова подошел к стене времянки, где жили рабочие, и, пригнувшись, посмотрел на спящего соседа, пытаясь уловить в нем что-то новое, неведомое. Но в полумраке почти ничего не было видно, керосиновая лампа догорала, и слышалось лишь ровное, тяжелое дыхание. Градов вышел из барака и отправился бриться в круглосуточную парикмахерскую; в минуты тоски ему необходимо было прикосновение чужих рук.

Уже после полуночи Градов вернулся в свою съемную квартиру — небольшой домик в заброшенном фруктовом саду, распахнул окно в темноту и присел на стул. Легкий ветерок иногда шевелил листву, но вскоре все стихало. Где-то за садом кто-то шел и напевал; наверное, бухгалтер возвращался с курсов повышения квалификации, или просто кому-то не спалось.

Вдали, одиноко и безнадежно, мерцала тусклая звезда, и ближе она уже не станет. Градов смотрел на нее сквозь грязный воздух, время тянулось, и его терзали сомнения:

– Может, мне просто исчезнуть?

Градов не видел никого, кому он был бы настолько нужен, чтобы стоило цепляться за жизнь до самой смерти. Вместо надежды оставалось лишь терпение, и где-то за чередой бессонных ночей, за увядшими и вновь расцветшими садами, за встреченными и забытыми людьми ждет его свой час, когда придется лечь в больничную койку, отвернуться к стене и умереть, так и не сумев выплакаться. В мире останется только его сестра, но она родит ребенка, и любовь к нему заглушит печаль по умершему брату.

– Лучше я уйду, — подумал Градов. — Мной пользуются, но никто не рад. Завтра напишу последнее письмо сестре, надо купить конверт утром.

И, решив покончить с собой, он лег в кровать и заснул с облегчением от равнодушия к жизни. Не успев насладиться этим чувством, он проснулся в три часа ночи, включил свет и сидел в тишине, окруженный яблонями, до самого рассвета, а потом открыл окно, чтобы услышать пение птиц и шаги прохожих.

После общего подъема в барак к землекопам пришел незнакомый человек. Из всех рабочих его знал только Кузнецов благодаря своим прошлым конфликтам. Это был товарищ Зимин, председатель окружного профсоюза. У него было уже немолодое лицо и сутулая спина — не столько от возраста, сколько от груза ответственности; поэтому он говорил отечески и почти все знал или предвидел.

«Ничего, – обычно говорил он в трудные моменты, – исторически счастье все равно неизбежно наступит». И понуро опускал голову, в которой, казалось, уже не осталось места для мыслей.

Около начатого а Игорь остановился, глядя на землю с выражением, как будто это был сложный производственный процесс.

– Темпы у вас черепаши, – обратился он к рабочим. – Что вы, силы бережете? Социализм и без вас обойдется, а вы без него просто так проживете и помрете.

– Мы, Игорь Петрович, как говорится, стараемся, – ответил Андрей.

– Где же вы стараетесь?! Только одну яму выкопали!

Смущенные упреком Игоря, рабочие молчали. Они понимали: он прав – нужно быстрее копать и строить, иначе умрешь и не успеешь. Пусть сейчас жизнь утекает, как дыхание, но, построив дом, можно организовать ее на будущее, для недвижимого счастья и для детей.

Игорь посмотрел вдаль – на равнины и овраги. Где-то там рождаются ветры, собираются холодные тучи, плодятся всякая мошकारа и болезни, зреют коварные планы у недоброжелателей и дремлет провинциальная отсталость, а рабочий класс живет один, в этой тоскливой пустоте, и должен за всех все придумать и сделать своими руками основу долгой жизни. И стало Игорю жаль свои профсоюзы, и он почувствовал в себе тягу к трудящимся.

– Я вам, товарищи, постараюсь выбить какие-нибудь льготы по профсоюзной линии, – пообещал Игорь.

– А где ты эти льготы возьмешь? – спросил Сергей. – Мы их сначала должны заработать и тебе отдать, а ты нам.

Игорь посмотрел на Сергея своими печальными, все предвидящими глазами и пошел в город, на работу. Следом за ним пошел Андрей и, немного отстав, сказал:

– Игорь Петрович, у нас тут Олег устроился, а у него направления из центра занятости нет. Вы его, как говорится, должны обратно отправить.

– Не вижу тут никакого противоречия – сейчас рабочих рук не хватает, – заключил Игорь и оставил Андрея в недоумении. А Андрей тут же начал терять пролетарскую веру и захотел пойти в город, чтобы писать там жалобы и создавать разные конфликты ради организационных успехов.

До полудня время шло спокойно: никто из начальства или технадзора на не приходил, и земля углублялась под лопатами, подчиняясь только силе и терпению землекопов. Олег иногда наклонялся, поднимал камешек или комок слежавшейся земли и клал его в карман. Его радовало и волновало почти вечное пребывание камешка в глине, в темноте: значит, ему есть смысл там находиться, тем более должен жить человек.

После полудня Андрею стало трудно дышать – он пытался вздохнуть глубоко и серьезно, но воздух не проникал, как раньше, до живота, а оставался на поверхности. Андрей сел на край ямы и коснулся руками своего осунувшегося лица.

– Что, расклеился? – спросил его Сергей. – Тебе для здоровья надо бы в спортзал записаться, а ты все конфликты любишь: мыслишь устарело.

Громов, не давая себе передышки, крушил кувалдой бетонную плиту, не задумываясь ни о чем, не давая волю чувствам. Он не представлял, зачем ему жить иначе – иначе либо вором станешь, либо усомнишься в правильности пути.

– Егоров опять сдал! – сказал Громову Сорокин. – Не выдержит он нашего светлого будущего: чего-то ему не хватает!

Тут Громов сразу задумался, потому что его жизни больше некуда было деваться, раз работа в земле закончилась. Он прислонился мокрой спиной к откосу а, посмотрел вдаль и попытался что-то вспомнить – больше он ни о чем не мог думать. Рядом с ом, в небольшом овраге, росла редкая трава и лежал серый песок. Нещадное солнце щедро тратило свое тепло на каждую мелочь этой унылой местности, и оно же, благодаря дождям, когда-то вырыло этот

овраг, но в нем еще не было никакой пользы для общего дела. Чтобы проверить свои мысли, Громов пошел в овраг и измерил его привычными шагами, ровно дыша для счета. Овраг идеально подходил для нужд а, нужно было только выровнять склоны и углубить его до водоупорного слоя.

– Пусть Егоров пока отлежится, – сказал Громов, вернувшись. – Мы пока копать не будем, а перенесем сюда бытовку в овраг и оттуда ее поднимем: Егоров успеет поправиться.

Услышав Громова, многие перестали копать и сели передохнуть. Но Егоров уже немного оправился от усталости и хотел пойти к Зайцеву и сказать, что копать больше не будут и нужно принимать какие-то меры. Предвкушая пользу, которую он принесет, Егоров заранее радовался и чувствовал себя лучше. Однако Сорокин остановил его, как только он тронулся с места.

– Ты чего, Егоров, решил в интеллигенты податься? Вон они сами к нам спускаются.

Зайцев стоял у а, перед ним были незнакомые люди. Он отправил сообщение сестре и теперь хотел усердно работать, заниматься текущими делами и строить что угодно, лишь бы не тревожить свое сознание, в котором он установил особое равнодушие, сродни смерти и чувству одиночества по отношению к окружающим. С особой нежностью он относился к тем, кого раньше недолюбливал – теперь он видел в них чуть ли не главный смысл своей жизни и пристально вглядывался в чужие и знакомые глупые лица, волнуясь и не понимая.

Незнакомые люди оказались новыми работниками, которых прислал Белов для ускорения темпов. Но рабочими они не были: Громов сразу, не приглядываясь, понял, что это переученные офисные сотрудники, какие-то степные отшельники и люди, привыкшие тихо идти за лошадьё; в них не было никакого рабочего таланта, они скорее были способны лежать на спине или как-то иначе бездельничать.

Зайцев поручил Громову расставить новых работников по у и обучить их, потому что нужно уметь жить и работать с теми людьми, которые есть.

– Это для нас ерунда, – заявил Сорокин. – Мы их отсталость быстро в активность превратим.

— Верно, верно, — проговорил Прушин, проникшись доверием, и двинулся за Щукиным к балке.

Щукин объяснил, что балка – это почти готовый , и с её помощью можно сохранить слабых работников для будущего. Прушин согласился, ведь он все равно покинет этот мир раньше, чем завершится стройка.

— А меня терзает научное сомнение, — произнес Сафронов, сморщив свое учтиво-сознательное лицо. Все невольно обратили на него внимание. Сафронов окинул взглядом присутствующих с улыбкой всезнающего ума. — Откуда у товарища Щукина такое глобальное видение? — медленно проговорил Сафронов. — Или его в детстве особо поцеловали, что он балку предпочитает мнению ученого? Почему ты, товарищ Щукин, так много думаешь, а я с товарищем Прушиным слоняюсь, как школьник между уроками, и не вижу перспектив!

Щукин был слишком мрачен для хитрости и ответил прямо:

— Жить негде, вот и думаешь головой.

Прушин посмотрел на Щукина, как на неприкаянного страдальца, затем попросил провести разведочное бурение в балке и удалился в свой кабинет. Там он погрузился в кропотливую работу над вымышленными деталями общегородского проекта, чтобы ощутить предметы и забыть о людях в своих воспоминаниях. Спустя пару часов Ерофеев принес ему образцы грунта из разведочных скважин. «Наверное, он знает смысл природной жизни», — тихо подумал Ерофеев о Прушине и, снедаемый своей неизбывной тоской, спросил:

— А вы не знаете, почему так устроен мир?

Прушин задержал взгляд на Ерофееве: неужели они все станут интеллигенцией, неужели капитализм породил нас недоучками, — боже мой, какое у него уже сейчас тоскливое лицо!

— Не знаю, — ответил Прушин.

— А вам бы следовало это узнать, раз вас так старались учить.

— Нас учили каждого какой-то мертвой части: я знаю глину, предел прочности и механику покоя, но плохо разбираюсь в технике и не понимаю, почему бьется сердце у животного. Целостную картину или внутреннее устройство — нам не объяснили.

— Зря, — заключил Ерофеев. — Как же вы так долго жили? Глина хороша для кирпича, а для вас ее мало!

Прушин взял в руку образец грунта из балки и сосредоточился на нем — он хотел остаться наедине с этим темным комком земли. Ерофеев отступил к двери и исчез за ней, бормоча про себя свою печаль.

Инженер Тихомиров, изучив пробы грунта, долго, словно по заданной программе, продолжал вычисления. Разум, освобожденный от всяких надежд и стремлений, машинально выдавал результаты. Раньше, когда жизнь казалась наполненной смыслом и даже счастьем, Тихомиров подошел бы к оценке прочности почвы менее скрупулезно. Теперь же он находил утешение в бесконечной заботе о деталях, в погружении в мир механизмов и расчетов, заменяющих ему утраченные дружбу и человеческую привязанность. Техническое обеспечение надежности будущего строения дарило Тихомирову холодное спокойствие, граничащее с удовольствием. Чертежи и схемы вызывали в нем интерес, более стойкий и глубокий, чем товарищеское общение с коллегами. Безмолвное вещество, не нуждающееся ни в движении, ни в жизни, ни в смерти, заменяло Тихомирову что-то давно забытое и необходимое, словно образ потерянной возлюбленной.

Закончив свои вычисления, Тихомиров обеспечил абсолютную прочность будущего муниципального жилого комплекса и почувствовал облегчение от надежности материала, призванного защитить людей, до сих пор вынужденных ютиться где попало. Внутри него стало легко и тихо, словно он проживал не унылую, предсмертную жизнь, а ту самую, о которой когда-то шептала ему мать, но которую он потерял даже в воспоминаниях.

Не нарушая своего умиротворения и легкой отрешенности, Тихомиров покинул временный офис стройки. Летний день клонился к закату, природа погружалась в вечернюю пустоту. Все вокруг постепенно замирало: птицы укрывались в гнездах, люди спешили домой, над дальними дачными участками вился дымок, где уставшие садоводы хлопотали у мангалов, готовясь к ужину и смиренно ожидая конца своего трудового дня. На месте а было пусто, бригада землекопов перешла на работы по укреплению оврага, и сейчас вся активность переместилась туда. Тихомирову вдруг захотелось оказаться в центре огромного города, где жизнь не замирает ни на минуту, где люди думают, спорят, ищут ответы, где по вечерам светятся витрины круглосуточных магазинов, источая ароматы кофе и свежей выпечки, где можно встретить незнакомую женщину и проговорить с ней всю ночь, ощущая странное счастье близости и понимания, когда хочется жить вечно в этом состоянии тревоги и надежды; а утром, попрощавшись на опустевшей улице, разойтись в предрассветном тумане без обещания новой встречи.

Тихомиров присел на скамейку возле офиса. Когда-то так же он сидел у дома своих родителей. Летние вечера не изменились с тех пор, и он любил наблюдать за прохожими. Некоторые вызвали у него симпатию, и он жалел, что не все люди знакомы друг с другом. Одно чувство жило в нем до сих пор: однажды, в такой же вечер, мимо дома его детства прошла девушка, и он не мог вспомнить ни ее лица, ни год этого события, но с тех пор он всматривался во все женские лица и ни в одном из них не узнавал ту, которая, исчезнув, все же осталась его единственной близкой душой и так близко прошла, не остановившись.

После закрытия завода "Красный Богатырь" по всей области завывали ветры перемен, но теперь стихли: началась новая эра, и люди спали в тревожной тишине. Муниципальная охрана патрулировала периметр рабочих кварталов, следя, чтобы сон был крепок и дал сил для завтрашней подработки. Не смыкали глаз только ночные сторожа да безногий колясочник, которого Кирилл встретил, когда приехал в этот забытый богом район. Сегодня он катил

на своей дребезжащей тележке к Игорю Сергеевичу Скворцову, чтобы получить от него свою долю, за которой он приезжал раз в неделю.

Скворцов обитал в добротном коттедже из пеноблоков, чтобы никакой пожар не страшен, и светящиеся окна его резиденции выходили в ухоженный палисадник, где даже ночью атели петунии. Инвалид проехал мимо окна кухни, где грохотали кастрюли, готовясь к ужину, и остановился напротив кабинета Скворцова. Хозяин сидел неподвижно за столом, погруженный в размышления о судьбах "Проекта Будущего", что был не виден простому калеке. На его столе стояли биодобавки и витамины для поддержания тонуса и повышения продуктивности — Скворцов много читал про саморазвитие, он был в авангарде; накопил уже кое-какие сбережения и потому берег свое тело — не только для личной радости, но и для пользы обществу. Инвалид ждал, пока Скворцов, оторвавшись от дум, не сделал короткую зарядку и, взбодрившись, снова не уселся за стол. Колясочник хотел окликнуть его, но Скворцов взял пипетку и после трех глубоких вдохов выпил капельку.

— Долго мне еще торчать тут? — спросил инвалид, не понимавший ни цены времени, ни пользы ЗОЖ. — Опять хочешь на мне сэкономить?

Скворцов невольно напрягся, но усилием воли взял себя в руки — он старался не тратить нервы по пустякам.

— Ты чего, Аркадий Петрович Жарый, чем недоволен, чего кипятишься?

Жарый ответил ему прямо в лоб:

— Ты что, барин, забыл, за что я тебя терплю? Хочешь проблем на свою голову? Помни, никакие законы для меня не писаны!

Тут инвалид сорвал с клумбы несколько роз, росших под окном, и, не глядя, швырнул их в сторону.

— Аркадий Петрович, — ответил Скворцов, — я тебя не понимаю, ведь тебе платят повышенную пенсию, чего тебе не хватает? Я всегда старался тебе помочь.

— Врешь, ты, приспособленец, это я тебе навстречу шел, а не ты мне!

В кабинет Скворцова вошла его жена с накрашенными губами, дожевывающая бутерброд с колбасой.

— Левушка, ты опять нервничаешь? — сказала она. — Я ему сейчас вынесу его подачку; это уже невыносимо, с этими попрошайками все нервы вымотаешь!

Она ушла обратно, возмущаясь всем своим необъятным телом.

— Ишь, как жену, паразит, откормил! — ворчал из сада Жарый. — На халяву всеми благами пользуется, значит, ты можешь содержать такую...!

Скворцов был слишком опытен в общении с трудными людьми, чтобы злиться.

— Ты бы и сам, Аркадий Петрович, вполне мог завести себе женщину: в твоей пенсии учтены все необходимые расходы.

— Ух ты, какая деликатная тварь! — констатировал Жохов из темноты. — Моей пенсии даже на гречку не хватает, а хочется чего-нибудь пожирнее, молочного. Скажи своей мерзавке, пусть мне в бутылку сливок погуше нальет!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.